

Петр Чайков

СОЛЪФЕДНО

1973-74 гг.

Но шмель здоров и жаворонок светит,
и насекомая волна водой блестит,
и вереск осторожный налетит,
чешуйки губ погладит и польстит
знакомством долгим с Валаамской медью...

Весь первый час, корнями укрепляя
тропинку малую, вела в постель заря
не человека, а крыло нетопыря,
ветвь полнолуния, "Арго" без руля,
слепя листом и пальцами играя.

Недолго ельник ленью щекотал.
Бугром бензина выступил проходной
участок лета. На него приезжий
свалился арлекином на манеже,
пригладил волосы, свои цвета узнал.

Отравлены и выжжены места,
где слово соблюдал и объяснялся.
Зеленое горюет спазмой красной.
Отлив Земли. Ты здесь хотел остаться,
да стрелка непреступна на весах.

Ров карасями сыт и рыбы Солнце гнут.
Но голодин тобою месяц пятый
колени и охота, и распятый,
тот самый, Божьей милостью обьятый,
в котором заключение минут.

На выданье постройка, на лету
 обвал кленовый: пестики, поленья.
 Где слева, справа — Солнца шевеленье.
 Он на крыльце увидел на мгновенье
 последний муравейник, но в цвету...

Что скажет ангина в конверте?
 О море, приправах, камнях,
 о белых ночных пузырях,
 о славе на птичьих правах,
 о всем, что бывает на свете...

Постройка и легкая рань
 стояла реальной кадкой,
 лежала конспектом прабабки,
 Минувя укропные грядки,
 он лег на чердачный диван.

Заснул, а виновник вестей
 над ним приготовил побудку
 гулящим котенком, за сутки
 до ливня и меда простуды,
 и смерти на хвойном стекле.

Но позже. Котенок проник
 и лапой дыхание ловит
 у спящего. Тот прекословит.
 Проснулся — котенок не стоит
 указки. И вечер стоит.

Так вечер стоит на губах,
 так празднуют лень занавески.
 Упругий котенок подвеской
 гуляет, стесняясь, и тесно
 от Солнца во сне и висках.

Дите посадив на плечо,
 подняв бельевые веревки,
 он вышел и волей кремневки
 внизу разогнулись оковы
 реки и лугов и еще...

И первый среди — цвет любви
 — заброшенный ландыш в чащобе —
 сводил с ним давнишние счета
 по части его недочетов
 в подборе нагорной листвы.

И, спор отложив до грозы,
 родник выпускал на сластену.
 Раскладывал голос зеленый
 пичуги в подрамнике клена,
 звездой укрепляя азы...

Так сладко бывает бродить,
 настаивая настроенье,
 и опыт пчелиного зренья
 поднять до всемирного мненья,
 и мысль отпустить на зенит.

Прележивал щеки июнь
 у дачи, коровника, вики,
 сушил глинозем для брусники
 и в этой мороке великой
 одалживал слюни у сонь.

Но если июнь умывал,
 то август наращивал связи
 лица с межпланетною страстью
 и влажною ночью, в ненастье,
 антоновкой падал в стакан...

Магнитные звезды кольца
 на яблочной груди каникул
 его обводили, как нити,
 и путь излучили на "Никэ" —
 на срезе скворца и свинца.

Так шел поворот и паром
 приглаживал воды у Леты,
 и слово палило кометой,
 когда двадцать пятое лето
 его привело на поклон.

к могилам по крови, Цветам
 на выступе жизни, на первый
 участок ожога, на вербы
 в небесных колодцах, на нервы
 заката. Бысть слово "Воздам".

Природное явление Любовь
 имперским облаком напало и смутило.
 Порою той апрельские светила
 успешнее сияли и крикливо
 воронья пасека разбалтывала кровь.

Линейка Солнца разрезала двор
 и белой половиной охлаждала.
 И тем глубинней становилась яма,
 в которую полночь меня ввергала
 и выносила в алчущий простор.

Целебный турман разводил венки
 прямой указкой гоночного свиста.
 И волновался, и в порыве веста
 ласкал крылом возвышенного свойства
 над ~~жизни~~ жерлом оживающей реки...

Вином кокетливым распахивая грудь,
 я начинал Весну. Была опасна поступь.
 Заметней тень и говорливей роспись,
 когда явился долгожданный призрак
 и Сон застыл, тяжел, гремуч, как ртуть...

Наряд лица, закрытый покрывалом.
 Смертельный призрак, вылепленный сном.
 Ни слова, ни угрозы, ни челом,
 руки движеньем знать дал об одном,
 что мне позволено остаться в жизни правым.

Поклон каналу. Видит Бог — я жив
и вывожу Словарь из окруженья.
Так холодны и солонны растенья
моей души, что и труба оленья
не выберет любовника из них.

Разочаруй чернила, пыл стеблей опал.
Пускай гулена бродит на здоровье.
Теплее, чем дыхание коровье,
лучи ласкают птичьи изголовья
и каждый обнимает свой кристалл.

Вот ночь татарская ведет грудных коней
и ландыш прячется, замешивая ливень,
определив узорчатой малине
ухаживать за долей лунной глины
и врачевать добычею своей...

Магнита пульс и ландыш на лету
грозили одинаково и зная
об этом факте он, как тень живая,
сестре и брату голову склоняя
огонь плескал на белую слюду.

Всех женщин, что любил автопортрет,
отмыло снегом, выпивкой сманило.
Прямая речь последнюю скрутила,
на Троицу дите себе родила...
Травы той трубной на припеке нет.

Одна сморода — черная слона
дробит стекло погожим урожаем.
Да чибиc тянется, распутывая шали
тумана у подножия державы,
да спит котенок — солнечный юла.

Не мне тебе наказывать на лень.
Ты захотел и жизнь должна с/учиться.
И торф наполнит нотную страницу,
в которой пес-прожектор шевелится
и сватает персидскую сирень...

Ты, соль горящая, словарной варки соль.
 Светила полные и кроны волн густые.
 Уносит вас полдневных лезвий стая
 в края корявые, змеиный мох пустыни,
 где губят перьями, белеет птица Моль.

Коренья льда, молочный алый гул,
 пар города на выемке февральской
 смущали тело и в потоке вальса
 тринадцатиметрового пространства
 с энциклопедией присел тюремный стул.

Я не шифрую, голова трезва.
 И параллелью третьего сонета
 нытье возникло звука, света, цвета
 с необходимостью сейчастного ответа
 квадратику Вселенского сукна...

О, ангел мой, нет в днях моих вин!

Надкушенное яблоко Луны
 дышало пустотой,
 но милая собака
 вела по равелину без помарок...

Мне все одно:
 Что без тебя,
 с тобой.

Я знал сосну. Пернатая струна
неприкасаемой пульсацией горела,
походы муравьиные корила.

И ночь открытая кругом была пресна.
Кузины сказку добивались в шон грядущий.
Прибой тумана, зренье стерегущий,
шел на деревню и на гребне гуши
висела восходящая сосна.

И я хотел о том предупредить
скворца и маятник,
валторну и тебя.

О, милая! Как на пороге дня
колодцем горла восходило эхо!
Водой березовой,
вороньим нервным смехом
на крутизне апрельского огня...

Сноси меня асфальтовой кошой!
Циклоном жги, а сны не истекают!
Тритона ход на первом срезе мая
смирнее похмельного трамвая
и выше неба стебелек простой.

Так началось. Любовью жизнь грозила.
Часы сплелись. Порхали голоса.
Два отражения — двужалая оса
сверкали жалостью. Мелели небеса.
И Ревность кубок ливня подносила.

Узки врата смороды ледяной.
Движение суток молнией манило.
Открыл и вышел. Взялся за перила.
Качнуло. Удержался. Место плыло.
И свист прошел над бедной головой.

И подхватил. И выбросил на круг.
И все сбылось. И жизни отошедшей
распались половицы. Ветер вещий
понес его на центр второй скворешни.
И гений разбросал Словарь вокруг.

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

Надзорных сумерек на циклоо любви.
И песен на ресницу Аполлона.
Цепь алая отеческого лона
лежит в траве спокойнее любви.

Жизнь невиновна, если день прошел,
оленьей ветвью полоня поляну.
Так невиновно комнатное пламя,
принявшее черты небесных смол.

июнь 75 - II марта 76 г.

стихи, написанные в больнице.

Ах, как меченый воздух больничный суров и глубок!
Если кот-голубок не играет, а мается танцем.
Этот месяц, как вышит, и, если попасть на зубок,
соберешь ли для капельниц тело и честь иностранца?

О

Игрушки воробьев наполнят клен
И, чуть жива, решетка отзовется
больнич ой жилой. Выводок имен
мое не потревожит, лишь зачтется
любви дольней серебристый крен.

май 75 г.

Византийской пчелы
 свет погас, заострил небосвод.
 Ключнул бес — не попал.
 Жаркий голубь терзает предплечье.
 От молдавских борозд
 до Гостилицких вылитых сот
 Твердь, как есть, сожжена
 преисловной все-ленной речью.

И чадит мотылек,
 воск ночной выбирая с души.
 Между черным питьем
 и коробкой визгливых иголок...
 Тише, мать, подожди.
 Ради Бога, прошу, не спеги^и
 сон жалеть, кровь смягчить.
 Это голос его, мама, голос.

16 марта 76 г.

ЭЛЕ

Доведу до последнего слова,
 дай мне вспомнить мою немоту.
 В первой смерти, как дома,
 — жар полета на спелом ветру.

Что на рваном ветру?
 Три совета отточенной влаги?
 Три пореза суровой бумаги?
 Медь заметок к утру.

Сшла слез поутру
 — чешуя кожуры водоема.
 В первой смерти, как дома.
 Заклинаю, ведущий, знакомо.
 Проклинаю свою немоту.

25 ноября 74 г.

Ю.А.

Простушка смерть — небесное полено
 расколется и каплей обовьет
 перо осеннее и самовластье фена.

Так тень воды блеснет сухой струной
 и ниткою больничной, цветом крена,
 осанкой Тютчева расстанется с тобой.

О

ЭЛЕ

В пучине осени и голубь боевой
 потухнет в небе каплей болевой
 и клюв наполнит огненной водицей.

И наводнения цвета сложив на стол
 Ты бинт прольешь в молочный летний ствол.
 Гнездо наполнив для безумной птицы.

1 сентября 75 г.

Трезвости хрустальный позвонок
 чище Солнца и честнее яда.
 Утро рукотворного наряда —
 паутина беженки наяды
 дергает за шелковый звонок.

Горько мне гореть ручной звездой
и плывущим в иле отзываться.

Горько в равном плеске называться
плавным змеем и с тобой сравняться
плоскостью, где жнет телесный зной.

Горько, что опутан правотой
тополиных муравейников Гостилиц...

Сладко бесу свадебной порой.

Февраль '75 г.